

## **Особенности конфликта Своего и Чужого**

### **в художественном мире Пушкина:**

### **общение через хронотопические барьеры**

Противоборство Своего и Чужого представлено в художественном мире Пушкина прежде всего как проблема понимания. Конфликты между персонажами, противопоставляющими Свое Чужому, раскрываются в свете авторской позиции, которая выстраивается в соответствии с базовыми христианскими ценностями.

«Ищите убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас», - говорит Христос иудеям. (Ин.837). Убивают того, кого не просто не понимают, - кого не могут понять. Однако готовность признать и простить чужую правду, если эта правда не вмещается в свое сознание, - свойство божественной, а не человеческой природы. «Простите им, ибо не ведают, что творят», - то, что говорит Христос, многие ли из людей могут сказать? Путь от монологического, замкнутого в себе существования, к диалогическому, предполагающему взаимодействие «своего» и «чужого», неизбежно конфликтен.

Монологическая самоорганизация, замкнутая в рамках «я» и «свое», носит не индивидуальный, а коллективный характер: строго говоря, у Пушкина противостоят друг другу не «я» и «не я», а «мы» и «они». Чужое, как правило, представлено в мире Пушкина не как индивидуально-чужое, а как коллективно-чужое. При всей «неподражательной странности» (ЕО, 1, XLY) пушкинский герой, будь то Онегин или Самсон Вырин, является носителем коллективного сознания, которое возрастает в рамках определенного хронотопа и обусловленного им образа жизни и образа мыслей. Свое или Чужое у Пушкина – это прежде всего маркированность пространством и временем как устойчивыми и материально обозначенными координатами личностного «я», как объективными показателями

идентификации личности. Представляя Алеко отцу, Земфира говорит: «Он хочет быть, как мы, цыганом». И Алеко как будто вписывается в цыганское племя, следуя образцу «как»: «Алеко волен, как они». Алеко приспособляется к Чужому: «К бытию цыганскому привык», - отказавшись от прежних привычек. Цыганской общностью он воспринимается как исключение из правила: «Ты любишь нас, хоть и рожден / Среди богатого народа...» Цыганы судят о человеке по миру, из которого он пришел. Овидий для них – «полудня житель», который «к заботам жизни бедной / Привыкнуть никогда не мог». И персонажи «Евгения Онегина» тоже оценивают человека по критериям, значимым в данном хронотопе: в городе Евгений «умен и очень мил» (ЕО, 1, IV), в деревне – «неуч, сумасбродит...» (ЕО, 1, V). Онегин, после долгих странствий вернувшийся в высший свет, воспринимается как чужой: «Для всех он кажется чужим» (ЕО, 8, VII). Евгения чуждаются не как неповторимой личности, а как человека, долго отсутствовавшего и не соответствующего вкусам, условностям, нравам высшего света, утратившего прежние навыки общения в свете.

Дружеская общность фиксируется у Пушкина в категориях пространства:

Нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское село («19 октября», 1825)

Дружеский круг («свои») отграничивается от «чужих» по пространственным параметрам.

Столь же значимы и параметры временные. Влюбленная Татьяна не понимает, что живет в другом мире, чем ее избранник. Время пылких влюбленностей миновало для Онегина («В красавиц он уж не влюблялся...» - ЕО, 4, X). Да и «привычки милой старины» (ЕО, 2, XXXV), которые «хранили в жизни мирной» (ЕО, 2, XXXV) родители Татьяны, деревенская тишина, чувствительные романы, няня – окно в мир народа (ср. французский гувернер Онегина), - все это, сформировавшее «смирненную девочку», было чужим для Онегина.

Часто у Пушкина ситуация неразделенной любви изображается как встреча людей, находящихся на разных стадиях личностного развития. То, что знает Пленник, узнает и Черкешенка («Ты их узнала, дева гор ...»), опыт жизни в свете, который был у Онегина, обретает Татьяна, научившаяся «властвовать собой». Изменившиеся героини воспринимаются по-другому теми, кто их некогда отверг.

Свое и Чужое не понимают друг друга, если общение происходит через хронотопические барьеры. Действиями Вальсингама руководит молодость («юность любит радость»), то есть та пора жизни, когда обстоятельства не принимаются во внимание. Конечно, противоположность ценностных парадигм Вальсингама и Священника вряд ли следует осмысливать как чисто возрастную. Но несомненно то, что аксиологическая система, укоренившаяся в национально-религиозном сознании, отвергается в художественном мире Пушкина молодыми людьми, сознание которых формируется в первоначальном отталкивании от традиции. Вековой уклад жизни не сразу и не всеми воспринимается как Свое, потому у Пушкина представлен и герой, выламывающийся из своего времени и пространства (отчуждение от исходной среды Пленник, Алёко, Онегина) и герой, соответствующий тому хронотопу, в котором он рожден:

Он в высшей волею небес  
Рожден в оковах службы царской;  
Он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес,  
А здесь он – офицер гусарский

(«К портрету Чаадаева», 1820)

Пушкин понимает, что человек проходит через различные «состояния мира» (выражение Гегеля) и формирует свое отношение к Чужому изнутри той стадии, на которой он находится. Очевидно, что неконфликтное приятие Чужого определяется в первую очередь способностью человека гармонично соотносить хронотоп собственного существования с хронотопом другого человека. Дружеские отношения Онегина с Ленским поддерживаются до тех

пор, пока старший не мешает «минутному блаженству» младшего: «Простим горячке юных лет / И юный жар и юный бред» (ЕО, 2,XY).

Проблема разобщения персонажей в мире Пушкина объясняется отнесением их к антагонистическим общностям, представляющим разные хронотопы. Разрыв с миром носит пространственный («Им овладело беспокойство, / Охота к перемене мест» - ЕО, 8, XIII) и временной характер (например, потребность ухода в прошлое хотя бы в мечтах у Татьяны-княгини). Реальное, а не иллюзорное противостояние «я» всему, что «не я» идет из определенного хронотопа, от которого «я» себя не отделяет. Конфликт Своего и Чужого у Пушкина – борьба не полярных сил, а сил, выражающих различные пространственно-временные планы развития общечеловеческого.

Противоборство личностей, показанное, так сказать, вне хронотопических соотнесений, появляется эпизодически. «Ужо тебе!» - всего лишь эпизод в поэме о сотворении города – «окна в Европу», причем эпизод, выявляющий неадекватность героя (Евгений ищет врага не там и не в том). Как правило, мотивировкой конфликта является позиционирование себя «я» из хронотопа, чуждого «не я». То, что субъективно воспринимается как противоборство чуждым друг другу «я», объективно представлено как обусловленность позиций антагонистов их принадлежностью к разным хронотопам. Пушкинский герой ищет опоры во внешнем, но это внешнее ограничено пространством и временем и тем самым потенциально несет в себе конфликт. По сути, конфликт можно трактовать как насильственное преодоление границы, переход в чужое жизненное пространство. Истоки конфликта – в несогласии с наличным временем, когда конечность жизни торопит героя («Ужель отец меня переживет?», «да через тридцать лет / Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги / На что мне пригодятся?» - «Скупой рыцарь») и наличным пространством (потребность расширить собственную жизненную территорию, даже если для этого требуется потеснить других).

Взаимоотношения Своего и Чужого в конечном счете определяются наличием или отсутствием вертикального измерения в жизни личности. Любимые пушкинские героини ищут ту общность, которая возвышает, а не принижает уровень души. Татьяна, «русская душою», ищет основания своей любви в решениях «высшего совета», пытаясь увидеть во встрече с Онегиным «волю неба»: «ты мне послан Богом» (ЕО, 3, Письмо Татьяны к Онегину).

Примечательно, что в сцене последнего объяснения Татьяна избегает упоминания о «воле неба» при человеке, относительно которого у нее не осталось (почти не осталось, учитывая деликатную вопросительную интонацию) сомнений:

Зачем у вас я на примете?

Не потому ль что в высшем свете

Теперь являться я должна (ЕО, 8, XLIV)

Вместо «высшего совета» она теперь выдвигает предположение о мотивировке поведения Онегина реальными «высшими силами». Повзрослевшая Татьяна не изменяет своей вере, иначе не было бы упоминания о кресте над могилой няни («Да за смиренное кладбище, / Где нынче крест и тень ветвей / Над бедной нянею моею», - ЕО, 3, XLYI).

«Бедная няня моя» в свете креста – это то Свое Татьяны, которым она неизменно дорожит. Но с Онегиным Татьяна теперь говорит как с человеком, живущем в ином, чем она, пространстве, пространстве без Бога, и руководствуется понятиями исключительно высшего света. Теперь Татьяна взывает не к «воле неба», а к принципам, регулирующим взаимоотношения в свете, то есть принципам гордости и чести, которые утверждают достоинство Своего и внеположны сверхличным ценностям: «Я знаю: в вашем сердце есть / И гордость и прямая честь», - ЕО, 8, XLVII). Татьяна не перестает любить Онегина и теперь, понимая, что они принадлежат к разным типам духовной общности. «Смиренной девочки любовь» (ЕО, 8, XLIII) не возвышает Свое за счет унижения Чужого.

Пределы Своего у Онегина заданы в первой строфе романа. Это пространство между «Боже мой» и «Когда же черт возьмет тебя». Но и Бог и черт в сознании Онегина – формальные величины; за словесными оболочками скрывается пустота. Пушкин рисует образ человека, который подобно многим своим современникам вполне способен обходиться без

Бога, черта, да и всего того, что стоит за космическим противостоянием Добра и Зла.

При отсутствии каких бы то ни было ограничителей Свое тяготеет к ничем не сдерживаемому расширению пространства, что в конечном счете оборачивается дьявольской экспансией в чужие владенья. Свое предъявляет права на то, что ему не принадлежит, пытаясь Чужим компенсировать собственную пустоту. Сатану не случайно называют обезьяной Бога. В христианском сознании Сатана – воплощение пустоты, не имеющей собственного содержания и искусственно достигающей значимости за счет переименования, выворачивания наизнанку божественных смыслов. Сатана – противоположность Творца, тот, кто питается Чужим, чтобы обрести хотя бы иллюзорное Свое. Не случайно во сне Татьяны Онегин видится среди «адских привидений», единственным словом которых является «мое!». Под знаком «Мое! – сказал Евгений грозно» (ЕО, 5, XX) воспринимает Татьяна Онегина, олицетворяющего для нее власть и силу, во сне. В свете слов «Слава Богу» («И начинает понемногу / Моя Татьяна понимать / Теперь яснее – слава Богу – Того, по ком она вздыхать / Осуждена судьбою властной» (ЕО, 7, XXI) обретает любимая героиня Пушкина более ясное понимание своего кумира: «Что же он? Ужели подражанье, / Ничтожный призрак (ЕО, 7, XXI). Иллюзия беспредельности личностного «я» Онегина сменяется сознанием призрачности в нем Своего: «Чужих причуд истолкованье» (ЕО, 7, XXI).

Распадение искомого единства родового и индивидуального, «я» и «мы» осмысливается Пушкиным под знаком нарушения заданной человечеству нормы взаимоотношений. В то же время связь индивида с некоей человеческой общностью видится не как идеальная точка устремлений, а как реальность жизни. В пушкинском художественном мире позиция «вообрази, я здесь одна» (Письмо Татьяны к Онегину) субъективна и временна. Человек ищет опоры во внешнем, то есть в Чужом, находящемся извне «я» и рано или поздно находит ее. Пушкинская муза проходит через стадии приобщения к различным «союзам» от которых «отстает» поэт («Но я отстал от их союза / И вдаль бежал...» (ЕО, 8, IV), заставляя Музу обращаться к новым предметам, которые «ей нравятся»: «Ей нравится порядок стройный / Олигархических бесед, / И холод гордости спокойной, /

И эта смесь чинов и лет» (ЕО, 8,УП). Но кажущееся обретение идеала приводит к очередной констатации: «Мне стыдно идолов моих...» («Разговор книгопродавца с поэтом», 1824). Идеал же по мере духовного возрастания поэта открывается как единение человека с Богом. И в движении к этому идеалу личность обрывает родственные связи как препятствие индивидуальному развитию, как преграду к Спасению, к которому человек идет в одиночку. Семья, земные попечения оставляются Странником, устремляющимся по пути, указанному Христом («Странник», 1835). Индивид перерастает принятые в его пространственно-временном континууме отношения с Высшим началом – с Богом. Тогда часть (человек) отрывается от целого ради приобщения к целому более высокого порядка.

Духовная жажда, потребность обновления отношений человека с Богом воспринимается Пушкиным в двух разных проявлениях:

- 1) как пророческая миссия служения людям в их бытийственной устремленности (период среднего возраста человека «Пророк», 1826);
- 2) как уход от мира, разрыв социальных, родственных отношений во имя служению Высшему и человечеству вне конкретики человеческих взаимоотношений, вне общения (на закате жизни).

В стихотворениях «Монастырь на Казбеке» (1829), «Странник» (1835), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836) Пушкин обнаруживает потребность человека, достигшего зрелости «скрыться» «в соседство Бога». Человек, не просто томимый «духовной жаждою», а обретший истинный источник удовлетворения извечных духовных устремлений, «жаждет» Бога – идеальной точки устремлений, при достижении которой и Свое и Чужое воспринимаются не столько с точки зрения их идентичности, сколько в их близости к Богу. Точнее будет сказать, что Свое и Чужое в определенный момент духовного возрастания человека разграничиваются в зависимости от того, в каком духе находится человек, какой из противостоящих космических сил он отдается. «Как обуянный силой черной», Евгений в «Медном

всаднике» оказывается в конфронтации к предопределенности, олицетворяемой Петром: «Здесь нам суждено...».

Таким образом, в художественном мире Пушкина взаимоотношения Своего и Чужого представлены на уровне противостояния хронотопов. Способность человека гармонично соотнести хронотоп собственного существования с хронотопом другого человека определяется присутствием вертикального измерения в жизни личности, тем самым перерастающей границы не только индивидуально-своего, но и коллективно-своего в приобщении к высшим основаниям жизни.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ